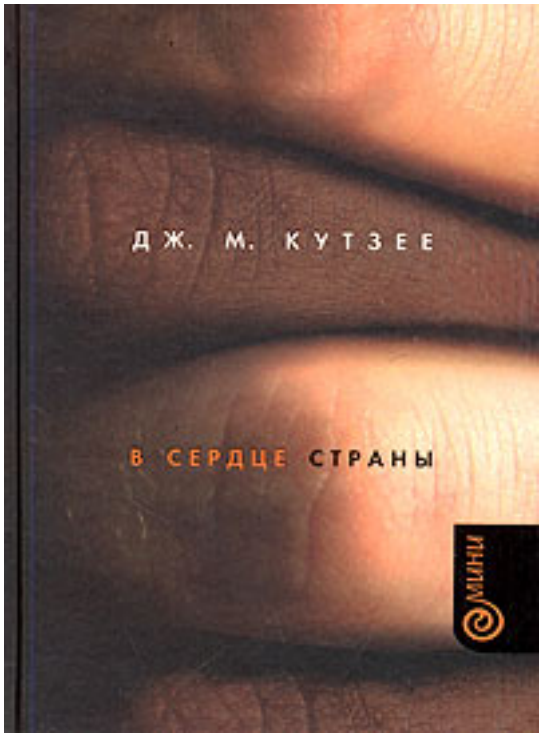
Дж. М. Кутзее
В сердце страны

Джозеф Максвелл Кутзее

В сердце страны

OCR unknown
http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=154311
Дж.М.Кутзее. В сердце страны. Перевод с английского Е.З.Фрадкиной: Амфора; СПб; 2005
ISBN 5-94278-753-0, 0-7493-9425-0
Оригинал: JosephCoetzee, “In the Heart of the Country”
Перевод:
Е. Фрадкина

Аннотация

Вымысел и реальность переплелись в этом романе о трагедии человеческого одиночества, одиночества женщины...

Содержание

*** 4
Конец ознакомительного фрагмента. 23

Джозеф М. Кутзее
В сердце страны

***

1. Сегодня мой отец привез домой новую жену. Они катили по равнинам в высоком двухколесном экипаже, в который была впряжена лошадь с плюмажем из страусовых перьев. Впрочем, не исключено, что вместо лошади было два осла с плюмажами, – Такое тоже возможно. Все были в пыли после долгого путешествия. Отец был облачен в черный фрак и цилиндр, на новобрачной – белое платье в талию и широкополая шляпа от солнца. Я не смогу привести детали, ничего не присочинив: ведь я не наблюдала за ними. Я находилась в своей комнате, в изумрудном полумраке – это было после полудня, и ставни были закрыты. Читала книгу или, что вероятнее, лежала с мокрым полотенцем на глазах, борясь с мигренью. Я – та, которая остается в своей комнате, где читает, или пишет, или борется с мигренью. В колониях полно подобных девиц, но, думаю, ни одна не доходит до такой крайности, как я. Мой отец – тот, который медленно расхаживает по половицам в своих черных сапогах, взад–вперед, взад-вперед. А вот и третья—его новая жена, которая допоздна валяется в постели. Это антагонисты.

2. Новая жена. Новая жена – ленивая ширококостная женщина с роскошными формами и кошачьей грацией. У нее большой рот, который растягивается в медленной улыбке. Глаза острые и колючие, как две ягоды, две черные колючие ягоды. Это крупная женщина с тонкими запястьями и длинными пухлыми пальцами, сужающимися на конце. Она ест с большим аппетитом. Спит, ест и бездельничает. Она высовывает длинный красный язык и слизывает с губ вкусный бараний жир. «О, это мне нравится!» – говорит она, и улыбается, и закатывает глаза. Я смотрю на ее рот как зачарованная. Потом она широко улыбается мне и смотрит колючими черными глазами. Я с трудом переношу ее улыбку. Из нас не получается счастливой семьи.

3. Она – новая жена, следовательно, прежняя мертва. Прежняя жена – моя мать. Она умерла так много лет назад, что я едва ее помню. Должно быть, я была очень маленькой, когда ее не стало, – может быть, новорожденным младенцем. Из самого дальнего, потайного уголка памяти я извлекаю» бледный образ – образ хрупкой, кроткой, нежной, любящей матери, лежащей на полу свернувшись, – вероятно, именно такую выдумала бы для себя любая девушка в моем положении.

4. Первая жена моего отца, моя мать, была хрупкой, кроткой, любящей женщиной, которая жила и умерла под башмаком у мужа. Муж не мог ей простить, что она неспособна родить ему сына. Его безжалостные сексуальные домогательства привели к тому, что она умерла при родах. Она была слишком хрупка и нежна, чтобы произвести на свет грубого, шумливого мальчишку– наследника, которого хотел мой отец, – поэтому и умерла. Доктор прибыл слишком поздно. Его вызвал посланец на велосипеде, и доктору пришлось тащиться в экипаже целых сорок миль по проселочной дороге. Когда он прибыл, моя мать уже лежала, успокоившаяся, на смертном одре – терпеливая, обескровленная, виноватая.

5. Но почему же он не прискакал на лошади? Да и были ли в те дни велосипеды?) 6. Я не наблюдала за тем, как мой отец подвозит жену к дому, так как была в своей комнате в темном западном крыле – изводила себя и выжидала подходящего момента. Мне следовало бы стоять наготове, приветствовать их и предложить чаю с дороги, но я этого не сделала. Я отсутствовала. Моего отсутствия не заметили. Отец не обращает внимания на мое отсутствие. Для отца я всю свою жизнь была пустым местом. Поэтому я не являю собой

женственное тепло в сердце этого дома – нет, я нуль, ничто, пустота, из-за которой все обваливается внутрь; я серый вихрь, холодный сквозняк, продувающий коридоры, – забытый, мстительный.

7. Приходит ночь, и мой отец и его новая жена резвятся в спальне. Они вместе гладят ее матку, наблюдая, как та трепещет и расцветает. Они сплетаются, она обхватывает его своей плотью, они хихикают и стонут. Чудесные времена для них.

8. В доме, имеющем по воле судьбы форму буквы «н», в театре из камня и солнца, обнесённом целыми милями проволоки, я прожила всю свою жизнь, слоняясь из комнаты в комнату, грозно нависая над слугами, – угрюмая дочь-вдова мрачного отца. День за днем, на закате, мы сидели друг против друга за бараниной, картофелем, тыквой – безликой едой, приготовленной равнодушными руками. Может ли быть, что мы беседовали? Нет, не может – наверное, мы сидели друг против друга в молчании, прожевывая наш путь сквозь время, и наши глаза – его черные глаза и мои черные глаза, унаследованные от него, – блуждали в своем пространстве. Потом мы удалялись спать, чтобы увидеть во сне аллегории неосуществленного желания, которые, к счастью, неспособны были истолковать; а по утрам мы состязались в ледяном аскетизме: кто раньше встанет, чтобы разжечь огонь в холодном очаге. Жизнь на ферме.

9. В сумрачной прихожей день и ночь тикают часы. Я – та, которая их заводит и еженедельно поправляет по солнцу и календарю. Время на ферме – это время широкого мира, и ни на мгновение не больше и не меньше. Я решительно отвергаю слепое субъективное время сердца, которое то учащенно бьется от волнения, то замирает от скуки, – нет, мой пульс будет биться в унисон с ровным ритмом цивилизации. Однажды какой-нибудь ученый, пока еще не родившийся, сделает открытие: часы – это механизм, который обуздал хаос диких дебрей. Но узнает ли он о безысходности часа сиесты, который бьют часы, – сиесты, когда дочери колоний лежат с закрытыми глазами, считая? В стране полно меланхоличных старых дев, подобных мне, потерянных для истории, влачащих свои дни в родовых имениях, – они наводят блеск на медную посуду и готовят впрок варенье. Когда мы были маленькими, за нами волочились наши властные отцы, и мы стали ожесточенными весталками, испорченными на всю жизнь. Изнасилованное детство – кто-то должен найти зерно истины в этой фантазии.

10. Я живу, я страдаю, я здесь. Используя в случае необходимости хитрость и вероломство, я борюсь, чтобы не стать одной из тех, кто позабыт историей. Я—старая дева с запертым дневником, но я и нечто большее. Я – неспокойная совесть, но и это еще не всё. Когда весь свет погашен, я улыбаюсь в темноте. Мои зубы блестят, хотя никто бы в это не поверил.

11. Она подходит ко мне сзади – до меня доносится благоухание апельсинового цветения и запах возбужденного самца – и берет меня за плечи:

– Я не хочу, чтобы ты сердилась. Я понимаю, что ты чувствуешь себя несчастной и обеспокоенной, но для этого нет причин. Мне бы хотелось, чтобы все мы были счастливы вместе. Я сделаю что угодно – действительно все, что угодно, – чтобы так и было. Ты мне веришь?

Я заглядываю в дымоход; мой нос распухает и краснеет.

– Я хочу сделать наш дом счастливым, – говорит она нараспев, кружась,

– мы трое вместе. Мне хочется, чтобы ты считала меня сестрой, а не врагом.

Я смотрю на полные губы этой насытившейся женщины.

12. Было время, когда я воображала, что если буду говорить достаточно долго, то мне откроется, что это значит – быть сердитой старой девой в самом сердце ничего. Но хотя я обнюхиваю каждый эпизод, как собака свою кучку, я не нахожу того перехода в «как бы», который отмечает начало истинной двойной жизни. Мучительно пытаясь найти слова, которые перенесут меня в страну мифа и героя, я остаюсь в скучной летней жаре все той же непрезентабельной и неспособной выйти за свои пределы. Чего мне не хватает? Я плачу и

скрежещу зубами. Страсти? Зримого образа второго существования, достаточно страстного, чтобы перенести меня из заземленности в двойственность смысла? Разве я не дрожу каждой клеточкой от страстного раздражения? Или дело в том, что моей страсти не хватает воли? Может быть, я хоть и разозленная, но, в конце концов, всего лишь самодовольная старая дева с фермы, заключенная в объятия своей ярости? Действительно ли я желаю выйти за свои пределы? История моей ярости и ее зловещее продолжение: собираюсь ли я усесться в эту лодку и закрыть глаза, и меня повлечет вниз по течению, через речные пороги, вместе с пенящимся потоком – и я очнусь, освеженная, в тихом устье? И принесет ли это мне освобождение – ведь без освобождения какой смысл в моей истории? Вызывает ли моя судьба старой девы острое негодование в моей душе? Кто стоит за моим притеснением? Ты и ты, говорю я, скорчившись в золе и указуя разящим перстом на отца и мачеху. Но почему же я не сбежала от них? Пока существует другое место, где я могу жить, на меня тоже указуют персты – небесные персты. А быть может, мне, до тех пор не ведавшей, но теперь, увы, догадавшейся, уготована более замысловатая судьба: меня распнут вниз головой в знак предостережения тем, кто любит свой гнев и лишен способности узреть другую историю? Но какая же другая история имеется в запасе для меня? Брак со вторым сыном соседа? Я не создана для того, чтобы быть жизнерадостной фермершей. Я несчастная, безнадежная девственница, и моя история—это моя история, даже если это скучная, дурацкая, унылая история, не ведающая о своем значении и о многочисленных неиспользованных счастливых вариантах. Я – это я. Характер – это судьба. История—это Бог. Досадно, досадно, досадно.

13. Ангел – так ее иногда называют, ангел в черном, который приходит, чтобы спасти детей темнокожих от крупа и лихорадки. У себя дома она сурова, но суровость сменяется состраданием, когда она приходит ухаживать за больными. Ночь за ночью она сидит с хнычущими детишками и с роженицами, борясь со сном. «Ангел с небес!» – говорят они, и их глаза льстецов проницательны. Сердце ее поет. На войне она облегчала бы последние часы раненым. Они умирали бы с улыбкой на устах, глядя ей в глаза и сжимая ее руку. Ее запасы сострадания неистощимы. Ей нужно быть необходимой. Когда она никому не нужна, она чувствует себя озадаченной и сбитой с толку. Разве это не объясняет всё?

14. Если бы мой отец был более слабым человеком, у него была бы более хорошая дочь. Порабощенная своей потребностью быть нужной, я кружусь вокруг него, как луна. Такова моя единственная смехотворная попытка разобраться в психологии нашей катастрофы. Объяснить значит простить, быть понятым значит быть прощенным, но я – надеюсь и боюсь этого – необъяснима и не могу быть прощена. (Однако что же такое во мне прячется при свете?, Есть ли у меня на самом деле секрет, или же это смущение лишь способ мистифицировать мою лучшую, вопрошающую половину? Действительно ли я верю, что где-то в щели между моей нежной матерью и моим младенческим «я» лежит ключ к этой унылой, скучной старой деве? Продолжи себя, продолжи себя—вот шепот, который иногда слышится в глубине моей души.)

15. Раз уж я заговорила о себе, еще одно мое свойство—любовь к природе, особенно к жизни насекомых, этой суетливой целеустремленной жизни, которая продолжается вокруг каждого навозного шарика и под каждым камнем. Когда я была маленькой девочкой (сочиняй, сочиняй!) в шляпе от солнца, украшенной оборочками, то сидела, как рассказывают, весь день в пыли, играя с моими друзьями жуками – серыми, и коричневыми, и большими черными, названия которых я забыла, но могла бы без труда найти в энциклопедии; и с моими друзьями муравьедами, делавшими эти элегантные маленькие конусообразные ловушки из песка, в которые я иногда бросала обычного красного муравья; и время от времени – со спрятавшимся под плоским камнем бледным, вялым детенышем скорпиона, которого я убивала палкой, поскольку даже тогда знала, что скорпионы плохие. Я не боюсь насекомых. Оставив за спиной дом, я босиком иду вверх по руслу реки, и горячий темный песок

скрипит у меня под подошвами и набивается между пальцами. Там, где течение замедляется, я сажусь, распустив юбки, и чувствую, как тепло постепенно доходит до бедер. Не сомневаюсь, что, если бы вдруг пришлось туго – хотя понятия не имею, как бы могло до этого дойти – я без колебаний поселилась бы в глиняной хижине, или под навесом из веток, или в велде, питаясь кормом для цыплят и беседуя с насекомыми. Наверное, даже в маленькой девочке проступали черты безумной старой леди, и темнокожие, которые прячутся за кустарником и знают всё, должно быть, хихикали.

16. Я росла вместе с детьми слуг. Я говорила, как они, пока не научилась вот так разговаривать. И играла в их игры с палками и камнями; пока не узнала, что у меня может быть кукольный дом с Папой, Мамой, Питером и Джейн, спящими в своих собственных кроватях, с чистым бельем в комоде, у которого выдвигаются и задвигаются ящики, и с собакой Нэн и котом Феликсом, дремлющими у растопленного очага на кухне. Вместе с детьми слуг я искала в велде корни кхамма, кормила коровьим молоком осиротевших ягнят, висела на воротах, наблюдая, как уничтожают паразитов у овец и пристреливают свинью к Рождеству. Я вдыхала затхлый запах укромных уголков, где они спали вповалку, как кролики, и сидела у ног их слепого старого дедушки, который вырезал из дерева прищепки для белья и рассказывал истории о давно минувших днях, когда люди и звери мигрировали с зимних пастбищ на летние и жили все вместе, кочуя. У ног старика я впитала миф о прошлом, когда зверь, и человек, и хозяин жили общей жизнью, невинные, как звезды на небе, – нет-нет, я далека от того, чтобы смеяться. Как мне вынести боль о том, что утрачено – чем бы это ни было, – без мечты о былых временах, возможно, окрашенной в фиалковый цвет меланхолии, и без мифа об изгнании, дабы объяснить себе эту боль? И мать, нежная, благоухающая, любящая мать, которая отравила меня молоком и сладкой дремой в пуховой постельке, а потом исчезла в ночи под звук колоколов, оставив меня среди жестких рук и грубых тел, – где ты? Мой утраченный мир – это мир людей, холодных ночей, светящихся глаз, в которых отражается пламя костра в лесу, и длинная история о мертвых героях на языке, который я не разучилась понимать.

17. В доме с хозяйками-соперницами слуги выполняют свою работу с опущенными плечами, уворачиваясь от брызг дурного настроения, которые могут полететь в них. Отупев от нудной работы, они предвкушают яркие, драматичные ссоры, хотя им известно, что для них лучше всего, когда в доме царит согласие. Еще не настал день, когда гиганты сойдутся в битве, а карлики ускользнут в ночи. «Они не переживают противоположные чувства последовательно, когда одно сменяет другое, как волны, – нет, ярость смешивается у них с сожалением, обида – с радостью, и у них начинается головокружение, от которого клонит в сон. Они хотят находиться в большом доме, но в то же время не прочь остаться дома, прикинувшись больными, и подремать на скамейке в тени. Чашки выпадают у них из рук и разбиваются на полу. Они шепчутся по углам. Без всякой видимой причины они бранят своих детей. Им снятся дурные сны. Психология слуг.

18. Я живу и не одна, и не в обществе – словно среди детей. Со мной разговаривают не словами, которые доходит до меня в искаженном виде, странные и завуалированные, а знаками, мимикой, жестами, движениями рук и плечей, нюансами тона и интонации, паузами и пропусками – эта грамматика никогда не была записана. Читая темнокожих, я иду ощупью, так же, как они, читая меня: ведь они тоже воспринимают мои слова весьма смутно, прислушиваясь к скрытым намекам в голосе, вглядываясь в слегка приподнятые брови, улавливая то, что я действительно имею в виду: «Осторожно, не сердите меня», «То, что я говорю, исходит не от меня». Мы напрягаемся, чтобы через долины пространства и времени увидеть бледный дым сигналов друг друга. Вот почему мои слова – это не те слова, которые употребляют люди, беседуя друг с другом. Когда я одна в комнате и все мои обязанности выполнены, а лампа ровно горит, я вхожу в свой собственный скрипучий ритм, спотыкаясь о

скалы из слов, которые никогда не слышала из уст другого. Я создаю себя словами, я, живущая среди тех, чьи взоры потуплены, никогда не встречавшаяся взглядом с равным. Пока я вольна быть собой, нет ничего невозможного. В своей келье я – безумная ведьма, какой мне суждено быть. Я брызжу слюной на свою одежду, горблюсь и извиваюсь, на ногах моих расцветают мозоли, и этот сварливый голос, составляя предложения, прерываемые зевками от скуки – ибо на ферме ничего не происходит, – ломается и скрипит от раздражения, и в глухую полночь, когда похрапывает надзиратель, я танцую сама с собой под мелодию сумасшедшего хорнпайпа.

19. Каким утешением от телесной любви являются лапидарные парадоксы? Я смотрю на полные губы насытившейся вдовы, слышу скрип половиц в затихшем доме на ферме, теплый шепот, доносящийся с большой кровати, ощущаю на себе бальзам плоти, предающейся любви, засыпаю, окруженная запахом разгоряченных тел. Но как же быть с реальностью, когда столь желанно падение в бездонную темноту? Опьяненная девственница, я стою нагая на пороге, вопрошая.

20. Насытившаяся вдова загадочным жестом подносит палец к полным темным губам. Призывает ли она меня к молчанию? Забавляет ли ее мое откровенное тело? Сквозь приоткрытые шторы полная луна льёт свой свет на ее плечи, ее полные ироничные губы. В тени ее бедра лежит уснувший мужчина. Ко рту поднимает она загадочную руку. Она позабавлена? Она напугана? Ночной ветерок веет через раздернутые шторы. Комната погружена в темноту, и фигуры лежащих в постели столь неподвижны, что я не слышу их дыхания, и сердце мое стучит, как молот. Следует ли мне идти к ним одетой? Не фантомы ли они, которые исчезнут, едва я к ним прикоснусь? Она наблюдает за мной с ироничной улыбкой на полных губах. Я роняю свою одежду у двери. В сиянии луны она рассматривает мое бедное молящее тело. Я плачу, пряча глаза, желая истории жизни, которая омыла бы меня, принеся успокоение, как у других женщин.

21. Когда мой отец возвращался после дневных трудов, потный и запыленный, для него была готова ванна. В детстве это входило в мои обязанности: я должна была разжечь огонь за час до заката, чтобы можно было налить горячую воду в сидячую эмалированную ванну в тот самый момент, как он переступит через порог парадного входа. Потом я удалялась за цветастую ширму, чтобы принять у отца одежду и выложить чистое белье. На цыпочках выходя из ванной, я слышала, как он окунается, как всасывается вода под мышками и между ягодицами, и вдыхала сладкие, тяжелые миазмы мыла и пота. Позже эта моя обязанность была отменена; но когда я думаю о мужской плоти – белой, тяжелой, немой, – чья же плоть это может быть, если не его?

22. Сквозь щелочку в занавесках я наблюдаю за ними. Взяв его за руку и приподняв край юбки, она выходит – раз-два – из двухколесного экипажа. Она потягивается; улыбаясь и зевая, и с пальца затянутой в перчатку руки свисает маленький зонтик. Он стоит у нее за спиной. Они тихо обмениваются парой слов. Поднимаются по ступеням. Глаза у нее наполненные и счастливые – такие глаза не заметят пальцы, придерживающие кружевную занавеску. Она идет непринужденным шагом, ноги в полном согласии с телом. Не спеша они входят в дверь и скрываются из виду – мужчина и женщина пришли домой.

23. Вечером, когда тени сначала удлиняются, а потом покрывают всё, я стою у окна. Хендрик проходит через двор, направляясь к кладовой. С реки вдруг доносится щебетание множества птиц, потом они умолкают. В последних лучах света ласточки устремляются к своим гнездам под карнизами и вылетают первые летучие мыши. Из своего логова появляются хищники. Какое отношение к африканской ночи имеют боль, ревность, одиночество? Означает ли что-нибудь женщина, вглядывающаяся через окно в темноту? Я прикладываю к прохладному стеклу все десять пальцев. Рана в моей груди открывается. Если я эмблема – значит, я эмблема. Я незавершенная, я – существо с дыркой внутри, я что-то означаю – не

знаю, что именно, – я нема, я вглядываюсь через стекло в темноту, которая завершена, которая живет сама по себе, с летучими мышами, кустарником, хищниками, которая не видит меня, которая слепа, которая ничего не означает, а просто существует. Если я нажму посильнее, стекло раздавится, начнет капать кровь, сверчок прервет на минуту свою песню, а затем снова запоет. Я живу внутри кожи внутри дома. Я не знаю, каким образом могла бы освободиться и вырваться в мир. Не знаю, каким образом мир мог бы быть привнесен в меня. Я – поток звука, выливающегося во вселенную, тысячи и тысячи частиц – плачущих, стенающих, скрежещущих зубами.

24. Они потеют и напрягаются, дом на ферме скрипит в ночи. Наверное, семя уже в ней, скоро она начнет расползаться и созревать, поджидая, когда постучится ее маленькая розовая свинка. А вот если бы я родила ребенка – если допустить, что меня может постичь такая катастрофа, – он был бы худенький и бледный, непрерывно плакал бы от боли внутри, ковылял бы из комнаты в комнату на рахитичных ножках, цепляясь за передник своей матери и пряча лицо от незнакомцев. Но кто же сделает мне ребенка, кто способен не превратиться в лед при виде моей костлявой фигуры на брачном ложе, шерсти, доходящей до пупка, едко пахнущих подмышек, черных усов, внимательных, настороженных глаз женщины, которая никогда не теряет самообладания? Сколько нужно попыхтеть, прежде чем проникнуть в мой дом! Кто смог бы разбудить мои спящие яйцеклетки? И кто же будет присутствовать при родах? Мой отец, нахмуренный, с хлыстом? Темнокожие запуганные слуги, на коленях подносящие связанного ягненка, первые фрукты, дикий мед и посмеивающиеся над чудом непорочного зачатия? Из дырки он высовывает свое рыло – сын отца, Антихрист пустыни, пришедший, чтобы вести свои танцующие орды в землю обетованную. Они кружатся и бьют в барабаны, они потрясают топорами и вилами, они следуют за ребенком, в то время как его мать на кухне колдует над огнем, или потрошит петухов, или хихикает в своем окровавленном кресле. Разум, достаточно безумный для отцеубийства и псевдо-матереубийства и кто знает для каких еще злодеяний, несомненно, может вообразить эпилептического фюрера и марш банды самонадеянных рабов в маленький городишко, где солнечный пожар зажигает серебряные крыши и где их лениво перестреляют из окошек. Они лежат в пыли, сыновья и дочери готтентотов, мухи ползают по их ранам, их увозят в телегах и хоронят, сваливая трупы в общую яму. Мучаясь родовыми схватками под тяжестью моего отца, я борюсь, чтобы дать жизнь миру, но, кажется, порождаю только смерть.

25. При свете фонарика я вижу, как они спят блаженным сном удовлетворенных – она на спине, ночная сорочка собралась складками на бедрах; он – лицом вниз, левая рука в её руке. Я приношу не большой нож мясника, как думала раньше, а топорик – оружие валькирий. Я погружаюсь в тишину, как истинный любитель поэзии, дыша с ними в унисон.

26. Мой отец лежит на спине, обнаженный, пальцы его правой руки переплетены с пальцами ее левой, челюсть отвисла, темные глаза закрыты, скрыв весь свой огонь и молнии, из горла исходит влажный храп, а усталая слепая рыба, причина всех моих бед, свисает у него в паху (хорошо бы ее выдернули давным-давно со всеми ее корнями и луковицами!). Топор свистит у меня над плечом. Самые разные люди делали это до меня – жены, сыновья, любовники, наследники, соперники, – я не одна. Как шарик на веревочке, он плывет вниз на конце моей руки, врезается в горло, находящееся подо мной, и внезапно все приходит в движение. Женщина резко садится в постели, озираясь, она обрызгана кровью и поражена сердитым свистом и хрипом рядом с ней. Какое счастье, что в такие минуты события разворачиваются сами собой и не требуется ни руководителя, ни присутствия духа! Она ерзает, чтобы сорочка благопристойно опустилась на бедра. Подавшись вперед и ухватившись за одно из их четырех коленей, я наношу гораздо более меткий удар по ее макушке. Она опускает голову в колени и валится влево, свернувшись в клубок; мой театральный томагавк засел у нее в голове. (Кто бы мог подумать, что я способна нанести подобные удары?) Но с этой стороны

кровати по мне скребут пальцы, я теряю равновесие, мне нужно сохранять хладнокровие, я должна оторвать их, один за другим, вернуть (с некоторым усилием) свой топорик и с отвращением рубить эти руки, эти ладони, пока не улучу свободную минутку, чтобы накинуть простыню на всю эту дрожащую массу и утихомирить ее. И вот я уже наношу удары в ровном ритме – возможно, дольше, чем требуется, одновременно успокаивая себя и готовясь к тому, что должно стать новой фазой моей жизни. Потому что больше мне не нужно беспокоиться о том, чем заполнить свои дни. Я нарушила заповедь, а виновным не может быть скучно. Мне нужно избавиться от двух тел взрослых людей и уничтожить множество следов кровопролития. Нужно придать должное выражение лицу, сочинить историю—и все это до рассвета, когда Хендрик зайдет за ведром перед доением!

27. Я спрашиваю себя: почему с того самого момента, как она приехала по равнинам в высоком двухколесном экипаже, в который была впряжена лошадь с плюмажем из страусовых перьев, в пыли после долгого путешествия, в своей широкополой шляпе, я отказывалась с ней говорить, упрямо заставляя себя продолжать монолог моей жизни? Могу я вообразить, каково бы это было – перелистывать вместе с ней страницы утра за дымящейся чашкой чая, когда за окном квохчут цыплята, а слуги тихонько болтают на кухне, и какой был бы настрой – сдержанный или безмятежный? Могу я вообразить, как вырезаю с ней выкройки или прогуливаюсь по саду под ручку, хихикая? Возможно ли, что я пленница не одинокого дома на ферме и каменной пустыни, а своего каменного монолога? Были ли мои удары нацелены на то, чтобы закрыть эти проницательные глаза или заставить умолкнуть ее голос? Не могли бы мы, склонившись над чашками чая, научиться ворковать друг с другом; или, быть может, проплывая мимо друг друга в темном коридоре, в час сиесты, когда жарко и не уснуть, дотронулись бы, обнялись, прижались? Разве не могли бы эти насмешливые глаза смягчиться, разве не могла я сдаться, разве не могли мы пролежать весь полдень в объятиях друг друга, шепчась, – две девчонки вместе? Я глажу ее лоб, она утыкается носом в мою руку, я отражаюсь в темных прудах ее глаз, я не имею ничего против.

28. Я спрашиваю себя: что же во мне такое, что заманивает меня в запретные спальни и заставляет совершать запретные поступки? Может быть, жизнь в пустыне в этом чехле из черной ткани закрутила меня в такой клубок зловещей энергии, что даже коробейник или гостящий у нас троюродный брат должны опасаться, как бы не отравили еду или не зарезали в постели? Доводит ли элементарная жизнь до элементарных состояний – чистого гнева, чистого чревоугодия, чистой праздности? Не потому ли я никогда не покидала ферму, чуждая городской жизни, предпочитая погружаться в пейзаж символов, где простые страсти могут бушевать и вертеться вокруг своих собственных центров, в безграничном пространстве, в бесконечном времени, создавая свои собственные формы проклятия?

29. Я спрашиваю себя: справедлива ли я к городу? Разве нельзя представить себе город, над крышами которого плывут дымки тысячи личных очагов, с улиц которого доносится шелест скороговорки тысячи проклятых голосов? Возможно, но это слишком живописно, а я не художник.

30. Я спрашиваю себя: что же мне делать с телами?

31. Глубоко-глубоко под землей текут подземные реки, неся прозрачные воды через темные пещеры, и, если только до них добраться, это могилы для всех семейных тайн в мире. Я вхожу в теплую воду запруды, ища водосброс, который в наших снах манит нас из глубины и ведет в подземное царство. Моя юбка колышется и плавает вокруг талии, как черный цветок. Ноги ощущают ласковое прикосновение красного ила и зеленой ряски. Как брошенные близнецы, мои туфли следят за мной с берега. Из всех приключений самоубийство – самое литературное. Когда история подходит к концу, из тебя начинает бить ключом вся дурная поэзия последней минуты. Я бросаю долгий спокойный прощальный взгляд на небо и звезды, которые, вероятно, отвечают мне долгим спокойным безразличным взглядом, делаю

последний милый сердцу выдох (до свидания, душа!) и ныряю в пропасть. Затем элегический транс проходит, и остается холод и вода; все начинает смахивать на фарс. Мое нижнее белье надувается в воде шаром. Я слишком быстро касаюсь дна, а мифического водоворота нет и в помине. Вода, попавшая в ноздри, вызывает кашель и слепую панику организма, который хочет жить. Работая руками и ногами, я выбираюсь на поверхность. Моя голова чуть не взрывается, когда я жадно глотаю ночной воздух и кашляю, исторгая из себя воду. Я пытаюсь лечь на воду, но я устала, устала. Возможно, пару раз бью по воде деревянными руками. Возможно, погружаюсь второй раз, теперь уже глотая воду с меньшим отвращением. Возможно, снова всплываю на поверхность, все еще размахивая руками, но в то же время ожидая интерлюдии покоя, чтобы проверить и ощутить вялость мускулов. Возможно, теперь я бью по воде лишь в одном месте, заключая последнюю сделку, меняя дыхание на единственное слово – наполовину вода, наполовину мольба, обращенная к отсутствующим, ко всем отсутствующим, которые собрались сейчас на небе в вихре отсутствия – далекие, невидимые, – отозвать собак, отозвать шутку, прежде чем я снова нырну и предамся серьезному исследованию своих последних минут.

32. Но что знаю я об исследовании этих глубин – я, рабочая лошадь, которая проводит свои дни над кастрюлей в закопченном уголке, а ночами прижимает костяшки пальцев к глазам, наблюдая, как кружатся и низвергаются каскадом кольца света, и ожидая видений? Вероятно, умирание, так же, как и убийство, более унылая история, чем та, которую я себе рассказываю. Лишенная человеческого общения, я неизбежно переоцениваю воображение и окружаю земное сияющей аурой. И однако для чего эти великолепные закаты, спрашиваю я себя, если природа не разговаривает с нами языками пламени? (Меня не убеждают разговоры о взвешенных частицах пыли.) Для чего всю ночь поют сверчки, а на рассвете – птицы? Но уже поздно. Если есть время для размышлений, то также есть время, чтобы вернуться на кухню; а в данный момент передо мной стоит серьезная задача: нужно избавиться от трупов. Ведь скоро Хендрик откроет дверь черного хода, и хотя слуги близко соприкасаются с грязью своих хозяев – а в перспективе трупы превратятся в грязь, – Хендрик не только слуга, но и посторонний. Сначала придет Хендрик за ведром для доения, затем, несколько позже, явится Анна, чтобы мыть посуду, подметать пол, стелить постели. Что подумает Анна, когда обнаружит, что в доме тишина и лишь из спальни хозяина доносится звук: там скребут пол? Она колеблется, прислушиваясь, затем стучит в дверь. Я вскрикиваю в испуге, и она слышит мой голос, приглушенный тяжелой дверью: «Нет, не сегодня! Анна, это ты? Не сегодня – приходи завтра. А сейчас, пожалуйста, уйди». Она удаляется неслышным шагом. Прижавшись ухом к скважине, я слышу, как за ней захлопывается дверь черного хода, а потом, когда она, должно быть, уже вне пределов слышимости, – ее шаги по гравию. Почуяла ли она кровь? Пошла ли она рассказывать?

33. Женщина лежит на боку, поджав колени к подбородку. Если я не поспешу, она застынет в этом положении. Ее волосы упали на лицо липким темно-красным крылом. Хотя последним ее движением была попытка увернуться от топора, прикрыв глаза и сжав зубы, сейчас лицо ее спокойно. А мужчина, цеплявшийся за жизнь, в последней тщетной попытке рванулся в иллюзорную зону безопасности. Голова и руки свисают с кровати, они черны от тяжелой крови. Для него было бы лучше отдаться кроткому призраку, следуя за ним как можно дальше, видя закрытыми глазами ласточку, – она парит в воздухе, скользит, взвивается ввысь.

34. Какое счастье, что в такие моменты существует лишь одна проблема – проблема чистоты. Пока не будет убран кровавый послед, для меня не может быть новой жизни. Простыни пропитаны кровью, и их нужно сжечь. Матрас тоже придется сжечь, хотя и не сегодня. На полу – лужа крови, и крови станет еще больше, когда я перемещу тела. Что делать с телами? Их можно сжечь, или закопать, или утонить. Если закопать или утопить, придется

вынести их из дома. Закопать их можно только там, где мягкая земля, – в русле реки. Но если закопать их в русле реки, они всплывут при следующем разливе или во время второго разлива и предстанут перед миром, обнимая друг друга истлевшими руками, привалившись к изгороди, – там, где изгородь пересекает реку. Если привязать к трупам груз и утопить их в заводи, они отравят воду, а во время следующей засухи обнаружатся два скелета в цепях. Однако в любом случае их нужно вынести из дома—либо целиком (на тачке), либо в свертках. Как четко работает мой ум – словно машина! Хватит ли у меня сил, чтобы без всякой помощи вывезти их на тачке, или придется расчленить? Способна ли я унести хотя бы одно туловище? Есть ли способ расчленить туловище без непристойности? Мне бы следовало раньше уделять больше внимания искусству мясника. И каким образом можно приковать цепями тело к скале, не сверля дыры? И с помощью чего? Дрели? Коловорота? А если, в качестве альтернативы, бросить их на муравейник или оставить в отдаленной части фермы, в пещере? А как насчет погребального костра во дворе за домом? А что, если спалить дом, чтобы он обрушился на нас всех? Способна ли я на это?

35. Разумеется, истина заключается в том, что я способна на всё. Просто я совсем сбита с толку своей свободой. Для выполнения этих задач требуется лишь терпение и безупречность, а уж этого у меня навалом, как у муравья, и к тому же крепкий желудок. Если я поброжу по холмам, то непременно найду булыжники с дырками, которые проделала в них капающая вода в ледниковый период, или они образовались во время вулканического катаклизма. В сарае должно быть полно цепей, ниспосланных провидением, которые до сего момента лежали себе незаметно, а теперь вдруг бросились в глаза; а еще – бочонки с порохом, вязанки сандалового дерева. Но сейчас я уже размышляю о том, не пора ли мне найти сообщника с сильными мускулами, который, не задав ни одного вопроса, взвалит трупы себе на плечи и зашагает прочь, чтобы быстро и эффективно от них избавиться, например бросить в отработанную буровую скважину и завалить сверху огромным камнем. Потому что настанет день, когда мне понадобится другое человеческое существо, необходимо будет услышать чей-то голос, даже если он будет произносить одни ругательства. Этот монолог – лабиринт из слов, из которого мне не выбраться, если кто-нибудь меня не выведет. Я закатываю глаза, кривлю губы, но лицо в зеркале – это мое лицо, и оно будет оставаться моим, даже если я суну его в огонь Я оно начнет оплывать. Неважно, с каким неистовством я занимаюсь смертью и барахтаюсь в крови и мыльной пене, неважно, какой волчий вой я испускаю в ночи, – мои поступки, разыгрываемые в зловещем театре для себя,

– всего лишь поведение. Я никого не оскорбляю, поскольку некого оскорблять, за исключением слуг и мертвых. Как мне спастись? И неужели это в самом деле я – вот эта леди с голыми коленками, которая скребет пол? Участвовала ли я, истинная, глубинная я, в этих событиях—или просто присутствовала в какой-то момент времени, в какой-то точке пространства, в которой сгусток насилия, а за ним – сгусток отскребывания (ради слуг) с шумом пронеслись по своему пути из никуда в никуда? Если я повернусь спиной и уйду, не полетит ли вся кровавая сцена, освещенная фонарем, в туннель памяти, уменьшаясь, и я останусь в мрачной маленькой комнате в конце коридора и буду тереть глаза костяшками пальцев, ожидая, что брови отца срастутся, потом – черные озера под ними, потом – пещера рта, из которой все доносится эхо, повторяющее вечное нет?

36. Потому что, в конце концов, он не умирает так легко. Вот он, раздраженный, уставший, едет верхом на фоне заката, кивает в ответ на мое приветствие, входит в дом и тяжело опускается в кресло в ожидании, чтобы я помогла ему стянуть сапоги. Значит, все как встарь. Он не привез домой новую жену, и я все еще его дочь, а если смогу взять назад плохие слова – даже его хорошая дочь. Правда, как я вижу, лучше мне держаться подальше от него, пока он размышляет над неудачей, которую не понять мне, несведущей в любовных отношениях,

поскольку меня держали всю жизнь впотьмах. Мое сердце бешено бьется от этого второго шанса, но я двигаюсь осторожно, склонив голову.

37. Мой отец отталкивает еду, к которой не притронулся. Он сидит в гостиной, пристально глядя в камин. Я зажигаю для него лампу, но он жестом отсылает меня прочь. В своей комнате я подрубаю шов, вслушиваясь в тишину. Не слышны ли его вздохи между ударами часов? Я раздеваюсь и ложусь спать. Утром гостиная пуста.

38. Шесть месяцев тому назад Хендрик привез домой свою новую жену. Они катили по равнинам в высоком двухколесном экипаже, в пыли после долгого путешествия из Армоэде. На Хендрике был черный костюм, который отдал ему мой отец, рубашка, застегнутая до самого верха, и старая фетровая шляпа с широкими полями. Рядом с ним сидела новобрачная, комкая в руках свою шаль, настороженная и незащищенная, Хендрик купил девушку у её отца за шесть коз и пятифунтовую банкноту, пообещав дать еще пять фунтов, а может быть, еще пять коз, – такие вещи как-то всегда пропускаешь мимо ушей. Я никогда не видела Армоэде, я вообще никогда нигде не была, ничего не знаю наверняка – быть может, я просто призрак или химера, плавающая в точке пересечения определенной долготы и определенной широты, подвешенная здесь неведомым трибуналом и осужденная висеть до тех пор, пока не случится нечто: загонят кол в сердце трупа, погребенного на перекрестке дорог, или рухнет где– нибудь замок в озере – словом, что-нибудь такое. Я никогда не бывала в Армоэде, но без всяких усилий – такова уж одно из моих свойств – могу вообразить унылый холм, незащищенный от ветра, железные лачуги с мешковиной вместо дверей, цыплят, роющихся в пыли, сопливых детишек, которые таскают ведра с водой из запруды, и опять тех же цыплят, рассыпавшихся теперь перед экипажем, в котором Хендрик увозит свою жену-ребенка, застенчивую, покрытую платком, а шесть коз, составляющих приданое, тычутся носом в колючки и наблюдают желтыми глазами за сценой во всей ее полноте, которой мне вовеки не узнать: колючий кустарник, навозная куча, цыплята, дети, бегущие за экипажем, – и все это едино под солнцем, невинно, но для меня – лишь названия, названия, названия. Вне всякого сомнения, если что и поддерживает меня (видите, как по крыльям моего носа катятся слезы, и только метафизика не дает им упасть на страницу: я плачу по этой утраченной невинности, моей и человечества), так это моя решимость, моя железная решимость, моя железная, упрямая, смехотворная решимость прорваться сквозь экран названий и увидеть глазами коз Армоэде и каменную пустыню, что бы ни говорили философы (а что знаю я, бедный провинциальный синий чулок, о философии, когда оплывает свеча и часы бьют десять?).

39. Забывшись сном, она лежит всю ночь рядом с Хендриком – ребенок, который еще растет, то чуть-чуть у коленки, то немного у запястья, но пропорции всегда выдерживаются. В прежние времена, когда Хендрик и его родня следовали за своими курдючными овцами с одного пастбища на другое, в тот золотой век, когда еще не появилась гусеница – несомненно, на крыльях завывающей бури, – нанимались с лагеря в том самом месте, где сижу я (какое совпадение!), быть может, тогда, когда Хендрик был патриархом, не преклонявшим колено ни перед кем, он ложился в постель с двумя женами, почитавшими его, выполнявшими его волю, приноравливавшими свои тела к его желаниям, – старая жена с одной стороны, молодая – с другой, тесно прижавшись к нему; вот как я представляю себе это. Но сегодня вечером у Хендрика всего одна жена, и у старого Якоба в школьном доме всего одна жена, которая дуется и брюзжит. В полночь ветер доносит ее сварливый голос – к счастью, слов не разобрать, ни к чему все эти ссоры, – но тон явно осуждающий.

40. Этот дом не принадлежит Хендрику. Никто не может получить в наследство пустыню из камня, никто, кроме насекомых, в числе которых и я сама – худой черный жук с фальшивыми крыльями, который не откладывает яйца и моргает на солнце, являя собой подлинную загадку для энтомологов. В былые времена предки Хендрика исходили вдоль и поперек пустыню со своими стадами и скарбом. Направляясь из А в Б или из Ю в Я, отыс-

кивая воду, оставляя отставших, совершая форсированные марши. Потом однажды начали возводиться изгороди – конечно, я фантазирую, – и всадники подъезжали и, заслонив от солнца лицо, приглашали остановиться и осесть; возможно, это были приказы, а то и угрозы – кто знает? – и таким образом они становились пастухами, а потом и их дети, а их женщины брали на дом стирку. Эта колониальная история завораживает; интересно, возможна ли спекулятивная история, по аналогии со спекулятивной философией, спекулятивная теология, и теперь, по-видимому, возможна и спекулятивная этимология, высосанная из моего пальца, – не говоря уже о географии каменной пустыни и скотоводстве. И экономика: как мне объяснить экономику моего существования, с мигренями и сиестами, тоской, спекулятивной вялостью, если только у овец не будет какой-нибудь еды (в конце концов, это же не ферма насекомых); а что я для них припасла, кроме камня и колючего кустарника? Овцы питаются кустарником, я питаюсь овцами; выгоревшая трава, серые колючие кустарники, совершенно не соблазнительные на мой взгляд, овцам кажутся вкусными и сочными. В колониальной истории есть еще один великий момент: первого мериноса выгружают с борта судна с помощью блоков и тросов, в парусиновом бандаже, и он в ужасе блеет, не ведая, что это земля обетованная, где овцы будут поколение за поколением поедать колючки, обеспечивая экономическую базу для присутствия моего отца вместе со мной в этом одиноком доме, в котором мы с нетерпением ждем, чтобы выросла шерсть, и собираем вокруг себя остатки исчезнувших племен готтентотов, навечно делая их дровосеками, водоносами, пастухами и слугами в доме, и в котором нас пожирает скука и мы отрываем мухам крылья.

41. Хендрик родился не здесь. Он прибыл из ниоткуда – дитя какого– то отца и какой-то матери, неизвестных мне, отправленный в мир в тяжелые времена, с благословением или без оного, чтобы зарабатывать свой хлеб. Однажды днем он появился и попросил работу, хотя не могу себе представить, почему пришел именно сюда: мы находимся на дороге, которая не ведет из А в Б, если такая судьба возможна с точки зрения топологии, – надеюсь, я правильно употребила это слово, ведь у меня никогда не было преподавателя, я же не одна из тех длинноногих вульгарных девиц, к которым странствующие учителя любят придвигать поближе свой стул; нет, я угрюмая и потею и глупею от страха. Хендрик прибыл однажды днем— наверно, это был мальчик лет шестнадцати, разумеется, запыленный, с палкой в руке и сумкой на плече; остановившись у подножия лестницы, он смотрел вверх, на моего отца, который сидел там и курил, устремив взгляд вдаль: такова наша привычка здесь – смотреть вдаль, смотреть на огонь в очаге, и, должно быть, отсюда наша склонность к созерцанию. Хендрик снял шляпу – характерный жест: шестнадцатилетний мальчик, прижимающий шляпу к груди; здесь все мужчины и юноши носят шляпы.

– Хозяин, – сказал Хендрик, – добрый день, хозяин. Я ищу работу.

Мой отец откашлялся и сглотнул слюну. Я передаю его слова; не знаю, услышал ли Хендрик то, что услышала я помимо слов, – возможно, в тот день не услышала, но слышу теперь внутренним слухом: полутона уныния или пренебрежения.

– Какую работу ты ищешь?

– Какую угодно – просто работу, хозяин.

– Откуда ты?

– Из Армоэде, мой хозяин. Но теперь я иду от хозяина Кобуса. Хозяин Кобус сказал, что у хозяина есть здесь работа.

– Ты работаешь на хозяина Кобуса?

– Нет, я не работаю на хозяина Кобуса. Я искал там работу. Потом хозяин Кобус сказал, что у хозяина есть работа. Вот я и пришел.

– Какую работу ты можешь выполнять? Ты можешь работать с овцами?

– Да, я знаю овец, хозяин.

– Сколько тебе лет? Ты умеешь считать?

– Я сильный. Я буду работать. Хозяин увидит.

– Ты один?

– Да, хозяин, сейчас я один.

– Ты знаешь людей на моей ферме?

– Нет, хозяин, я здесь никого не знаю.

– Теперь слушай внимательно. Как тебя зовут?

– Хендрик, мой хозяин.

– А теперь слушай внимательно, Хендрик. Ступай на кухню и скажи Анне, чтобы дала тебе хлеб и кофе. Скажи ей, что она должна устроить для тебя место, где ты будешь спать. Мне нужно, чтобы завтра рано утром ты был здесь. Тогда я скажу тебе, что делать. А теперь иди.

– Да, мой хозяин. Спасибо, мой хозяин.

42. Как приятно слушать подобный диалог! Вот если бы вся моя жизнь была такой: вопрос и ответ, слово и эхо – вместо мучительных «А дальше?», «А дальше?». Разговор мужчин так ясен, так спокоен, так деловит. Мне следовало родиться мужчиной, тогда я не стала бы такой кислой; я проводила бы дни на солнце, делая то, что делают мужчины: копала бы ямы, строила изгороди, считала овец. А что ждет меня на кухне? Болтовня служанок, сплетни, болезни, дети, запахи еды, кошки, трущиеся о ноги, – какую жизнь можно вести в таком окружении? Хотя я десятилетиями питаюсь бараниной, тыквой и картофелем, я не приобрела челюсти, бюст и бедра настоящей, дородной сельской женщины – лишь мои тощие ягодицы обвисли вдоль ног. Увы, моей силы воли, которую я рисую себе как провод в чехле из крепа, недостаточно, чтобы вечно противостоять молекулам жира: погибая миллионами в кампаниях против маленьких зверьков моей крови, они все же рвутся вперед (я представляю их себе в виде множества слепых ртов), когда я год за годом сижу за столом напротив моего молчаливого отца, прислушиваясь к крошечным зубкам внутри меня. Не следует ожидать чудес от тела. Даже я умру. Как это отрезвляет!

43. Зеркало. Я унаследовала его от своей давно утраченной матери, чей портрет, должно быть, висит на стене в столовой над головами моего молчаливого отца и молчаливой меня; правда, когда я вызываю в памяти эту стену, то почему-то обнаруживаю в этом месте лишь серое пятно… Унаследовала от моей давно утраченной матери, которую однажды найду; зеркало вделано в дверцу платяного шкафа, находящегося напротив моей кровати. Созерцание собственного тела не доставляет мне удовольствия, но когда я заключаю себя в ночную сорочку белого цвета – белый для ночи, черный для дня, вот как я одеваюсь – и надеваю носки в зимний холод и чепчик от сквозняков, то иногда оставляю свет и, полулежа в постели и опираясь на локоть, улыбаюсь изображению, которое смотрит на меня полулежа и опершись на локоть, а иногда даже говорю с ним – или с ней. В такие минуты, как эта, я замечаю (какое полезное устройство зеркало, оно ясно все показывает – если только можно назвать его устройством, ведь зеркало такое простое, оно лишено механизма), как густо разрослись волосы у меня между глазами, и размышляю о том, нельзя ли эти заросли (будем говорить без обиняков, мне не за что любить свое лицо) выщипать пинцетом или даже выдернуть все разом, как пучок морковки, клещами, создав иллюзию мягкости и ровного характера. И не пойдет ли также на пользу моему облику, если я освобожу свои волосы от сетки, которую ношу в дневное время, и шпилек, и от ночного чепчика, вымою их и распущу – они покроют шею, а когда-нибудь, быть может, упадут на плечи. Ведь если волосы растут у трупов, почему бы им не вырасти у меня? И, может быть, я стану не такой уродливой, если что-нибудь сделаю со своими зубами, которых у меня слишком много, – пожертвую некоторыми, чтобы выросли другие, если я еще не слишком стара для этого? Как спокойно я отношусь к тому, чтобы вырвать зубы: я боюсь многих вещей, но боль, по-видимому, не входит в их число. Я усядусь перед зеркалом (говорю я себе), захвачу клещами обреченный зуб и буду

тащить и переживать, пока он не выйдет. Потом перейду к следующему. А покончив с зубами и бровями, перейду к цвету лица. Я буду каждое утро бежать в сад и, стоя под деревьями – абрикосовыми, персиковыми, фиговыми, – пожирать фрукты, пока у меня не смягчится кишечник. Я буду совершать утренний моцион, прогуливаясь по руслу реки, и вечерний – по холмам. Если причина физиологическая – из-за которой моя кожа такая дряблая и бледная, тело такое худое и тяжелое (если такое сочетание возможно), то я порой думаю: уж не стоит ли во мне кровь лужами, вместо того чтобы течь, или уж не двадцать ли одна у меня кожа вместо семи, как пишу в книгах? – тогда и лечение должно быть физиологическим; если же это не так, то во что остается верить?

44. Однако какой радостью было бы быть просто некрасивой безмятежной пустоголовой наследницей, готовой вручить тело и душу первому встречному – даже коробейнику или странствующему учителю латыни, – и родить ему шесть дочерей, и сносить его побои и ругань с христианским терпением, и жить пристойной тусклой жизнью, вместо того чтобы, опершись на локоть, созерцать себя в зеркале в атмосфере сгущающихся сумерек и обреченности, если мне верно подсказывают мои кости. Почему, если я способна так решительно вылезти из своей теплой постели в пять утра, чтобы разжечь огонь в плите, с посиневшими от холода ногами и руками, растрескавшимися от прикосновения к ледяной медной посуде, – почему я не могу сейчас вскочить, побежать в лунном свете к ящику с инструментами, в сад и начать весь комплекс лечения – выдергивание волос, удаление зубов и поедание фруктов, – пока еще не слишком поздно? Или есть во мне что-то такое, что любит мрачное, ужасное, обреченное, что обнюхивает свое гнездо и сворачивается калачиком в темном углу среди крысиного помета и куриных костей и ни за что не согласится вести пристойное существование? А если это так, то откуда оно взялось? Из монотонности моего окружения? Из всех этих лет, проведенных в сердце природы, в семи мигах от ближайшего соседа, от игры с палочками, камнями и насекомыми? Думаю, что это не так, – хотя кто я такая, чтобы судить. От моих родителей? От моего отца, сердитого, нелюбящего? От моей матери, этого затуманенного овала на стене, за спиной у отца? Возможно. Возможно, от них, вместе или порознь, а до них—от моих четырех бабушек и дедушек, которых я забыла, но в случае необходимости наверняка смогу вспомнить, и от моих восьми прабабушек и прадедушек и шестнадцати прапрабабушек и прапрадедушек, и еще от тридцати двух до них, и так далее, пока мы не доберемся до Адама и Евы и в конце концов до десницы Божьей, – с помощью процесса, математический аспект которого всегда ускользает от меня. Первородный грех, вырождение линии – вот две прекрасные, смелые гипотезы, объясняющие мое уродливое лицо и мои темные желания, а также нежелание вскочить сию минуту с кровати и заняться своим лечением. Но меня не интересуют объяснения. Все эти «отчего» и «почему». Судьба – вот что меня интересует; или ошибка судьбы – словом, то, что должно со мной случиться. Женщина в ночном чепчике, глядящая на меня из зеркала, женщина, которая в определенном смысле я, угаснет и растает в сердце страны, если у нее не будет хотя бы жидкой кашки событий, чтобы питаться. Мне не улыбается стать одной из тех, кто смотрится в зеркало и ничего не видит или ходит под солнцем и не отбрасывает тень. Мне решать.

45. Хендрик. Хендрику платят натурой и наличными. То, что когда-то составляло два шиллинга, к концу месяца возросло теперь до шести шиллингов. А еще—две овцы на убой и еженедельная норма муки, маиса, сахара и кофе. У него свой собственный огород. Одевается он в вещи с отцовского плеча, еще в хорошем состоянии. Он делает себе обувь из кож, которые дубит. В воскресенье у него всегда выходной. Когда заболевает, его лечат. Когда он состарится и не сможет работать, его обязанности перейдут к человеку помоложе, а Хендрик будет сидеть на скамейке на солнышке и наблюдать, как играют его внуки. На кладбище определено место, где его похоронят; Его дочери закроют ему глаза. Существуют и другие варианты образа жизни, но я не знаю более мирного, чем этот.

46. Хендрик хочет начать свой род, смиренный род, параллельный роду моего деда и моего отца – если упомянуть лишь их. Хендрику хотелось бы, чтобы его дом был полон сыновей и дочерей. Вот почему он женился. Второй сын, думает Хендрик, будет послушным, останется при отце, научится делать работу на ферме, будет помощником, женится на хорошей девушке и продолжит род. Дочери, думает он, будут работать на кухне в доме хозяина фермы. Воскресными вечерами они будут женихаться с парнями с соседних ферм, которые будут проезжать эпические расстояния по велду на своих велосипедах, с гитарами за плечами, и нарожают внебрачных детей. Первый сын, задиристый малый, из тех, кто никогда не скажет «да», покинет дом, чтобы найти работу на железной дороге, и его зарежут в уличной драке, и он умрет в одиночестве, и это разобьет сердце его матери. Что касается других сыновей, они, быть может, тоже уйдут искать работу, и больше о них не будет ничего слышно, или, возможно, они умрут в младенчестве, и соответствующий процент дочерей— тоже, так что древо рода станет разветвляться, но не слишком. Таковы амбиции Хендрика.

47. Хендрик нашел себе жену, потому что он уже не молодой человек, потому что он не хочет, чтобы его род навсегда прервался на земле, потому что он начал бояться ночи, потому что человек не создан для того, чтобы жить одному.

48. Я ничего не знаю о Хендрике. Причина в том, что все годы, проведенные нами на ферме, он знал свое место, а я выдерживала дистанцию; и благодаря сочетанию этих Двух вещей – места и дистанции – мой взгляд, брошенный на него, его взгляд, брошенный на меня, оставались доброжелательными, нелюбопытными, отстраненными. Это сходит для меня за объяснение. Хендрик – человек, который работает на ферме. Он всего лишь высокий темнокожий мужчина с прямыми плечами, высокими скулами и косящими глазами, проходящий по двору быстрой походкой, которую мне не изобразить: ноги вращаются от бедра, не сгибаясь в коленях; этот человек забивает для нас овец и подвешивает тушу на дереве, колет дрова, доит корову и по утрам говорит: «Доброе утро, мисс», приподнимая шляпу, перед тем как приступить к своим обязанностям. У каждого из нас свое место, у Хендрика и у меня, согласно старому-старому кодексу. Мы плавно двигаемся, исполняя фигуры нашего танца.

49. Я выдерживаю традиционную дистанцию. Я хорошая хозяйка – справедливая, беспристрастная, благожелательная, ни в коей мере не ведьма. Для слуг моя внешность не имеет значения, и я благодарна за это. Поэтому то, что я ощущаю в дуновении предрассветного ветра, ощущаю не я одна. Мы все это чувствуем, и все мы мрачнеем. Я лежу без сна, прислушиваясь к крикам, приглушенным, сдавленным, в которых звучит желание, печаль, раздражение и мука – даже мука; они сотрясают дом, так что можно подумать, будто в нем поселились летучие мыши – печальные, раздраженные, томящиеся летучие мыши, ищущие потерянное гнездо и завывающие так пронзительно, что от этого звука съеживаются собаки; эти вопли обжигают мое внутреннее ухо, которое даже в глубоком сне настроено на сигналы моего отца. Это из его спальни доносятся крики, еще более громкие, сердитые и печальные, – с тех пор как Хендрик привез свою молодую жену из Армоэде, когда за экипажем лениво вздымалась пыль, ослы тащили его вверх по тропинке к коттеджу, усталые после долгой поездки. Хендрик останавливается у дверей, опускает хлыст, вылезает из экипажа и снимает девушку, затем, повернувшись к ней спиной, начинает распрягать. И мой отец, стоящий на веранде, в шестидесяти ярдах от них, впервые видит, в полевой бинокль красный платок, широко расставленные глаза, острый подбородок, мелкие зубки, лисью челюсть, тонкие руки, стройное тело Анны Хендрика.

50. Большой луч моего видения качается и на какое-то мгновение освещает ребенка-жену Хендрика, выходящую из экипажа. Потом, словно я смотритель маяка, привязанный ремнями к стулу, чтобы не смыл предательский седьмой вал, девушка исчезает из моего поля зрения в темноту; я слышу скрежет зубчиков, которые поворачивают фонарь, и жду, когда в поле зрения появятся Хендрик, или мой отец, или та, другая женщина и высветятся на

минуту светом, который исходит от меня,– возможно, это даже не свет, а огонь. Мне нужно только, говорю я себе, сбросить ремни и повернуть рычаг, который у меня под рукой, чтобы зубчики перестали скрежетать и луч света упал на девушку, ее тонкие руки; но я трусиха (если упомянуть одну лишь трусость), и луч раскачивается, и через минуту я вижу каменную пустыню, или коз, или мое лицо в зеркале, и я могу перевести дух и расслабиться. Хотя я моту мучительно желать отречься от трона сознания ради того, чтобы перейти в режим существования коз или камней, это мучение вполне можно вынести. Сидя здесь, я удерживаю коз и камни, всю ферму и даже то, что ее окружает, в этой своей прохладной, отчуждающей среде подвешенными и заменяю их, одно за другим, словами. Горячий порыв ветра вздымает коричневато-желтую пыль. Пейзаж успокаивается и замирает. Потом Хендрик снимает свою жену из экипажа. Не ведая, что за ней наблюдают в полевой бинокль, она делает свои первые шаги по направлению к коттеджу, все еще держа в руках увядший букет, ноги обрисовываются под ситцевой юбкой, и слова снова начинают спотыкаться. Слова – это монеты. Слова отчуждают. Язык не является средством выражения для желания. Желание – это экстаз, а не обмен. Только с помощью отчуждения желанного объекта язык может справиться с задачей. Жена Хендрика, ее озорные глаза лани, ее узкие бедра – вне пределов досягаемости слов, пока желание не согласится перейти в любопытство наблюдателя. Неистовство желания, выраженное словами, порождает манию каталогизировать. Я борюсь с поговорками ада.

51. В предрассветный час Хендрик пробуждается, разбуженный звуками, слишком тонкими для моего слуха: дуновением ветра, шуршанием птиц на ветках,

– которые прогоняют сон. В темноте он надевает брюки, туфли, куртку. Он разводит огонь и варит кофе. У него за спиной незнакомка натягивает на уши звериную шкуру и, устроившись поуютнее, наблюдает за ним. Ее глаза блестят оранжевым светом. Окно закрыто, воздух в коттедже насыщен запахами человеческого тела. Они пролежали голыми всю ночь, просыпаясь и засыпая, пропитывая воздух своими смешанными испарения-ми: горьковатый запах темнокожих, я хорошо его знаю – должно быть, у меня была темнокожая няня, хотя я не могу ее вспомнить; (я снова принюхиваюсь, другие запахи сильнее); конечно, железный запах крови; перебивающая запах крови тонкая струя возбуждения девушки; и, наконец, пропитывая воздух молочной сладостью, – поток ответной реакции Хендрика. Вопрос не в том, откуда я, одинокая старая дева, знаю такие веши. Не зря же я провожу вечера, склонившись над словарем. Слова – это слова. Я никогда не претендовала на то, чтобы постичь происходящее ночью. Я имею дело только со знаками. На самом деле вопрос в том, что если уж я знаю такие вещи, то насколько больше должен знать об этом мой отец, и почему не разорвется его горячее сердце, распухнув от зависти? Я подбираю, обнюхиваю, описываю и роняю, переходя от одного предмета к другому, упорно перечисляя своими словами вселенную; но с помощью какого оружия удерживает он на привязи драконов желания? Я не пророчица, но прохладный ветер говорит мне, что надвигается несчастье. Я слышу мрачные шаги в пустых коридорах нашего дома. Я горблюсь и жду. После десятилетий сна с нами что-то должно случиться.

52. Хендрик присел на корточки перед очагом, чтобы налить кипяток в кофейную гущу. Пока длится идиллия, он будет сам себе варить кофе. Потом девушка, превратившись из волшебной гостьи в жену, научится вставать первой, и, несомненно, на нее скоро будут кричать, даже бить ее. Не ведая об этом, она с интересом наблюдает, потирая теплые ступни одна о другую.

53. Хендрик выходит в мир, еще не до конца распростившийся с ночью. В деревьях у русла реки начинается гомон птиц. Звезды чистые, как лед. Под ногами у него поскрипывают камешки. Я слышу, как звенит ведро о каменный пол кладовой, затем торопливой походкой Хендрик направляется в коровник. Мой отец сбрасывает одеяла, слезает с кровати и в одних носках встает на холодный пол. Я в своей комнате уже одеваюсь, поскольку должна приго-

товить кофе к тому моменту, когда он выйдет на кухню, суровый и нахмуренный. Жизнь на ферме.

54. Ни слова не было сказано о женитьбе между Хендриком и моим отцом с того дня, когда Хендрик пришей попросить разрешения привезти свою жену на ферму, и мой отец ответил: «Делай как знаешь». Свадьбу отпраздновали в Армоэде, а первая брачная ночь была в пути или здесь, не знаю; на следующий день Хендрик вернулся на работу. Мой отец увеличил количество выдаваемых ему продуктов, но не преподнес свадебный подарок. Когда я впервые после объявления о женитьбе увидела Хендрика, я сказала: «Поздравляю, Хендрик», и он, прикоснувшись к шляпе, улыбнулся и ответил: «Благодарю вас, мисс».

55. Сидя на веранде бок о бок, наблюдая, как угасает закат, и ожидая падающих звезд, мы иногда слышим, как за рекой перебирает струны своей гитары Хендрик. Однажды ночью, когда было особенно тихо, мы услышали, как он сыграл целую песенку. Но чаще всего по ночам ветер заглушает хрупкие звуки, и мы как будто находимся на разных планетах: мы – на нашей, они – на своей.

56. Я мало вижу жену Хендрика. Пока его нет дома, она почти все время сидит в коттедже, выходя лишь за водой к запруде или к реке за. дровами, – тогда я безошибочно различаю ее красную косынку, мелькающую среди деревьев. Она знакомится со своей новой жизнью, со стряпней и стиркой, со своими обязанностями по отношению к мужу, со своим собственным телом, с четырьмя стенами, окружающими ее, с видом, открывающимся за входной дверью, и с большим побеленным домом, находящимся в центре этого вида, с крупным мужчиной и проворной худой женщиной, которые выходят на веранду вечерами и сидят, уставившись в пространство.

57. Хендрик и его жена по воскресеньям наносят визиты Якобу и Анне. Они надевают лучшую одежду, запрягают ослов и степенно одолевают полмили пути до школьного здания. Я спрашиваю Анну о девушке. Она отвечает, что та милая, но еще ребенок. Если она ребенок, то кто же тогда я? Я вижу, что Анне хотелось бы взять ее под свое крылышко.

58. Со шляпой в руке Хендрик стоит в дверях кухни, поджидая, пока я взгляну на него. Оторвав взгляд от миски, в которой я разбиваю яйца, я встречаюсь с ним глазами.

– Доброе утро, мисс.

– Доброе утро, Хендрик. Как твои дела?

– У нас все хорошо, мисс. Я пришел спросить: может быть, у мисс есть работа в доме? Для моей жены, мисс.

– Да, Хендрик, возможно, есть. Но где твоя жена?

– Она здесь, мисс. – Он кивает через плечо, потом снова встречается со мной взглядом.

– Скажи ей, чтобы зашла внутрь. Повернувшись, он говорит: «Эй!» – со строгой улыбкой. Мелькает красное, и у него за спиной появляется девушка. Он делает шаг в сторону, и она стоит в дверях, словно в раме; со сжатыми руками и опущенными глазами.

– Значит, ты тоже Анна. Теперь у нас две Анны.

Она кивает, все еще отворачивая лицо.

– Поговори с мисс! – шепчет Хендрик. Голос у него резкий, но это ничего не означает: мы все знаем, что таковы игры, в которые мы играем друг для друга.

– Анна, мисс, – шепчет Анна. Она тихонько откашливается.

– Тогда ты будешь Анна Маленькая – у нас же не может быть две Анны на одной кухне, не так ли?

Она красива. Голова и глаза большие, как у ребенка, линии рта и скул чистые, словно очерченные карандашом. В этом году– и в следующем, и, возможно, еще один год ты все еще будешь красивой, говорю я себе, пока не родится второй ребенок и пока тебя не изнурят роды, болезни, нищета и монотонность, и Хендрик почувствует себя преданным и озло-

бится, и вы начнете кричать друг на друга, и твоя кожа покроется морщинами, а глаза потускнеют. Ты еще станешь такой, как я, говорю я себе, не беспокойся.

– Посмотри на меня, Анна, не бойся. Ты хочешь приходить и работать в доме?

Она медленно кивает, потирая подъем большим пальцем ноги. Я смотрю на ее пальцы ног и крепкие икры.

– Ну же, дитя, говори, я тебя не съем!

– Эй! – доносится от дверей шёпот Хендрика.

– Да, мисс, – отвечает она. Я приближаюсь к ней, вытирая руки о передник. Она не уклоняется, но взгляд ее обращается к Хендрику. Взяв за подбородок, я приподнимаю ее лицо.

– Ну же, Анна, тебе нечего бояться. Ты знаешь, кто я?

Она смотрит прямо мне в глаза. Губы ее дрожат. Глаза у нее не черные; а темно-темно-коричневые – темнее даже, чем у Хендрика.

– Итак, кто я такая?

– Мисс – это мисс.

– Ну, так давай же!.. Анна!

Но Анна, моя старая Анна, похоже, все это время околачивается в коридоре, прислушиваясь.

– Анна, это Анна Маленькая. Ты такая славная и большая. А что, если ты будешь у нас Анна Большая, тогда она будет Анна Маленькая. Как это звучит?

– Это звучит чудесно, мисс.

– А теперь слушай: дай ей чаю, затем она сможет приступить к работе. Покажи ей, где находятся принадлежности для мытья пола, – я хочу, чтобы прежде всего она вымыла пол в кухне. А ты, Анна Маленькая, должна завтра принести свою собственную кружку и тарелку. Ты запомнишь?

– Да, мисс.

– Хендрик, ты теперь должен идти, хозяин рассердится, если увидит, что ты здесь слоняешься.

– Да, мисс. Спасибо, мисс.

И все это – на нашем собственном языке, языке нюансов, с гибким порядком слов и выразительными суффиксами —непонятном для постороннего, изобилующем Для посвященных моментами солидарности, моментами дистанции.

59. Сегодня утром шел дождь. Несколько дней по небу проносились грозовые тучи, от горизонта до горизонта, доносились отдаленные раскаты грома и царил удушливый сумрак. Потом в середине утра с приглушенными криками начали носиться птицы, прячась в гнездах. Воздух стал неподвижен. Огромные, тепловатые капли воды закапали с неба, потом перестали, а потом дождь начался всерьез, когда гроза с молниями и бесконечными раскатами грома проследовала своим путем – через нас на север. Дождь лил в течение часа. Потом он закончился, запели птицы, от земли пошел пар, и последние свежие ручейки начали уменьшаться и иссякли.

60. Сегодня я заштопала шесть пар носков для моего отца. Существует традиция, которая старше меня и согласно которой Анна не должна заниматься штопкой.

61. Сегодня баранья нога была превосходной: нежной, сочной, в меру зажаренной. Во всем должен быть порядок. Жизнь в пустыне возможна.

62. Когда мой отец проезжает по холму мимо запруды, вокруг его плеч и головы собираются полоски и завитки, оранжевые, розовые, бледно– лиловые, розовато-лиловые – он окружен ореолом заката. Чем бы он ни занимался сегодня (он никогда не говорит, я никогда не спрашиваю), тем не менее домой он возвращается в блеске и славе – великолепный мужчина.

63. Вопреки всем соблазнам праздности, мой отец никогда не переставал быть джентльменом. Когда он выезжает верхом, то надевает сапоги для верховой езды, и я должна помогать ему их снимать, а Анна должна натирать воском. Совершая раз в две недели объезд своих владений, он надевает сюртук и галстук. В коробочке для запонок у него три запонки для воротника. Перед едой он моет руки с мылом. Он церемонно пьет свой бренди, один, из специального бокала – их у него четыре, – при свечах, сидя в кресле. Каждый месяц, негнущийся, как шомпол, он устраивается на табуретке за кухонной дверью и отдается на волю моих ножниц. Я подстригаю седые волосы, отливающие сталью, приглаживая их ладонью. Потом он встает, встряхивает салфетку, благодарит меня и величественно удаляется. Кто бы мог подумать, что из подобных ритуалов он нанизывает день за днем, неделя за неделей, месяц за месяцем и, по-видимому, год за годом, каждый вечер проезжая верхом на фоне пламенеющего неба, как будто провел весь день в ожидании этой минуты: лошадь стреножена в тени дерева как раз за холмом, а сам он прислонился, полусидя, к седлу, вырезая прищепки для белья, куря, насвистывая сквозь зубы, подремывая, надвинув шляпу на глаза, с карманными часами в руке. Ведет ли он такую потайную жизнь, когда скрыт от глаз, или подобная мысль непочтительна?

64. Раз в шесть дней, когда наши циклы совпадают – его цикл из двух дней, мой – из трех, – мы делим интимность уборной за фиговыми деревьями, опорожняя в ведро свой кишечник и вдыхая дурной запах свежих фекалий другого: либо он – мое зловоние, либо я – его. Откинув деревянную крышку, я сажусь над его испражнениями – адскими, кровавыми, грубыми – мухи любят такие больше всего, – с кусочками, без сомнения, непереваренного мяса. Мои же собственные (и тут я думаю о том, как он, в спущенных брюках, сидит, зажимая нос, а в черном пространстве под ним яростно жужжат мухи) – темные, оливковые от желчи, слишком долго удерживаемые, старые, усталые. Мы тужимся и напрягаемся, подтираемся каждый по-своему квадратиками туалетной бумаги, купленной в магазине (признак аристократизма), поправляем одежду и возвращаемся в широкий мир. Затем приступает к своим обязанностям Хендрик: он обследует ведро и, если оказывается, что оно не пустое, опорожняет его над ямой, выкопанной вдали от дома, моет и возвращает на место. Не знаю, где именно опорожняется ведро, но где-то на ферме есть яма, где, переплетясь кольцами, красная змея отца и черная – дочери обнимаются, засыпают и распадаются.

65. Но привычки меняются. Мой отец начал приходить домой по утрам. Никогда прежде он этого не делал. Он неуверенно заходит на кухню и заваривает себе чай. Меня он отстраняет пожатием плеч. Он стоит, сунув руки в карманы, спиной к двумя Аннам, если они там, глядя в окно, пока настаивается чай. Служанки горбят плечи, встревоженные, тушуются. Если же их нет на кухне, он бродит по дому с чашкой в руке, пока не найдет Анну Маленькую, которая подметает, или чистит что-нибудь, или занята еще какой– нибудь работой, и стоит над ней, молча наблюдая. Я придерживаю свой язык. Когда он уходит, все мы, женщины, расслабляемся.

66. На этой голой земле трудно хранить секреты. Мы живем обнаженные под ястребиным взглядом друг друга, но в нас назревает протест. Наше недовольство друг другом, глубоко затаенное, иногда начинает нас душить, и мы отправляемся на долгие прогулки, впиваясь ногтями в свои ладони. Лишь подавив в себе секреты, мы можем их сохранить. Если мы молчаливы, это оттого, что в нас накопилось много такого, что стремится вырваться наружу. Мы ищем, на ком бы выместить нашу злость, а когда находим, бушуем необузданно. Слуги страшатся гнева моего отца, который всегда несоразмерен поводу. Разозлившись на него, они стегают ослов, швыряют камни в овец. Как хорошо, что животные не испытывают гнева, а лишь терпят и терпят! Психология господ.

67. В то время как Хендрик отбыл с заданием в богом забытое место, жарким полднем мой отец навещает его жену. Он доезжает верхом до двери коттеджа и ждет, не спешиваясь,

пока девушка не выйдет и не встанет перед ним, щурясь на солнце. Он говорит с ней. Она робеет. Она прячет лицо. Он пытается успокоить ее. Возможно, он даже улыбается – мне не видно. Наклонившись, он передает ей пакет из коричневой бумаги, полный конфет— сердечек и ромбиков с надписями. Она стоит с пакетом в руках, пока он отъезжает.

68. Или: в то время, когда Анна Маленькая идет домой, жарким полднем мой отец подъезжает к ней. Она останавливается, а он, перегнувшись через шею лошади, заговаривает с ней. Она робеет и прячет лицо. Он пытается ее успокоить, даже улыбается ей. Он достает из кармана пакет из коричневой бумаги, который передает ей. Пакет полон конфет, которые называют сердечками и ромбиками. Она сворачивает пакет и идет дальше.

69. Он перегибается через шею лошади, беседуя с девушкой, пытаясь успокоить ее. Она прячет лицо. Он опускает руку в карман, и я улавливаю блеск серебра. С минуту монета лежит у нее на ладони, это шиллинг или даже флорин. Они оба глядят на него. Потом девушка зажимает ладонь. Он уезжает, а она идет домой.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.